

Письмо Ю. М. Лотмана

Б. Ф. Егорову

*<Тарту, октябрь 1986 года>*

Дорогой Борфед!

Спасибо за рецензию. Рецензия интересная, темпераментная и острая. Очень прошу в ней ничего не менять. Пишу это затем, чтобы Вы не восприняли мои дальнейшие рассуждения как желание откорректировать оценки. Я гораздо большее значение, чем мнению читателей, придаю нашей с Вами договоренности *pro domo sua*. Итак, пишу лично для Вас.

Я не могу с Вами согласиться в оценке «жизнестроительства» (я, кажется, этого слова не употреблял?) Пушкина. И поскольку Вам и мне этот аспект книги кажется важным, необходимо объясниться. Конечно, плохо, если по поводу книги следует объясняться, — значит, в ней сказано неясно. Эту вину готов взять на себя. Но и Вы, мне кажется, поняли и отвергли не мою мысль, а свое (не полностью адекватное) ее понимание. Прежде всего. Вы отождествляете представление о сознательной жизненной установке с рационалистическим планом, методически претворяемым в жизнь. А речь идет совсем о другом — о сознательно-волевом импульсе, который может быть столь же иррационален, как и любая психологическая установка.

Один из смыслов замысла моей книги в том, чтобы написать биографию не как сумму внешних фактов (что и когда случилось), а как внутреннее психологическое единство, обусловленное единством личности, в том числе ее воли, интеллекта, самосознания. Я хотел показать, что, как мифологический царь Мидас к чему ни прикасался, все обращал в золото, Пушкин все, к чему ни касался, превращал в творчество, в искусство (в этом и трагедия — Мидас умер от голода, пища становилась золотом). Пушкин — я убежден и старался это показать как в этой биографии, так и в других работах — видит в жизни черты искусства (ср. у Баратынского:

И жизни даровать, о лира,

Твое согласие захотел... —

и тут же: «...поэтического мира огромный очерк я узрел» — представление о поэзии жизни не выдумка, а реальное мироощущение и Пушкина, и Баратынского). А любое художественное создание — борьба замысла и исполнения, логического и внелогического. Не станете же Вы отрицать, что в создании художественного произведения принимает участие замысел — от крайне осознанных формул до спонтанных импульсов? Внешние обстоятельства вторгаются и оказывают «возмущающее» (иногда стимулирующее внутренне подготовленную самим же замыслом эволюцию его) воздействие. Так, Микеланджело, получив от сеньории кусок мрамора, видит, что, вопреки его замыслу, фигуру можно будет сделать лишь сидячей. Жизнь — тот твердый, гранитный материал, который хочет остаться бесформенным куском, сопротивляется ваятелю, грозит убить его, обрушившись на него. А Пушкин — скульптор, торжествующий над материалом и подчиняющий его себе. Посмотрите сами: ему как бы всю жизнь «везет»: ссылки, преследования, безденежье, запреты... А как приходится говорить студентам? «Пушкин был сослан на юг. Это оказалось исключительно кстати, чтобы спонтанно созревший в нем романтизм получил оформление». Пушкин сослан в

Михайловское (он в отчаянии, оборваны все планы и связи, Вяземский совершенно серьезно пишет, что русская деревня зимой — та же крепость и что Пушкин сопьется). А мы говорим (и верно): «Пребывание в Михайловском было счастливым обстоятельством для оформления пушкинского историзма и народности, здесь ему открылся фольклор».

Представьте себя на его месте в Болдинскую осень: перед свадьбой он попал в мышеловку карантин, не знает, жива ли невеста, так как в Москве эпидемия, не знает, будет ли свадьба вообще (денег нет, и ссоры с будущей тещей), сам на переднем краю холеры. А все как будто ему опять повезло.

Стремление не поддаваться обстоятельствам было одним из постоянных пушкинских импульсов. Вот он лежит с разорванными кишками и раздробленным тазом. Боль, видимо, невероятная, но на слова Даля: «Не стыдись боли своей, стоная, тебе будет легче», отвечает поразительно: «Смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил, не хочу...» И это, когда он почти не может говорить от боли. Арендт говорил, что он был в тридцати сражениях и никогда не видел ничего подобного.

Вы поняли дело так, словно борьба и торжество в борьбе с обстоятельствами снимает трагичность, и пишете, что биография Пушкина трагична. Кто же с этим (с трагичностью биографии) спорит? Но бывают трагедии силы и трагедии слабости.

Щеголев со товарищи много вреда наделали: следуя в русле либеральных штампов начала века, они создали миф «поэт и царь» и представили Пушкина замученным интеллигентом. Эти идеи прочно въелись, и все (кроме Абрамович с ее прекрасной книгой) идут по этому легкому пути. И не случайно конец моей книги вызвал наибольшие возражения. Вы это приводите как доказательство правоты оппонентов, а на мой взгляд, лучше всех Пушкина понял не исследователь, а поэт — Булат Окуджава. В его стихотворении «Александр Сергеевичу хорошо, ему прекрасно...» больше понимания личности Пушкина, чем во многих академических трудах, и я полностью разделяю пафос его последних строк:

- 390 -

Ему было за что умирать

У Черной речки...

У моей позиции есть и вненаучный пафос: много лет я слышу жалобы разных лиц на обстоятельства. Сколько молодых писателей давали понять, что если бы не цензурные трудности, не издательские препоны, то они показали бы себя. А убери эти трудности — и выясняется, что и сказать-то нечего. Я всегда считал ссылку на обстоятельства недостойной. Обстоятельства могут сломать и уничтожить большого человека, но они не могут стать определяющей логикой его жизни. Все равно важнейшим остается внутренняя трагедия, а не пассивный переход от одного «обстоятельства» к другому. Юный Шуберт заражается сифилисом (случайно!) и погибает. Но не сифилис, а «Неоконченная симфония» — трагический ответ души на «обстоятельства» — становится фактом его внутренней биографии. Я же хотел сделать именно опыт того, что никогда, смею думать, не делалось применительно к Пушкину, — показать внутреннюю логику его пути. А «романтическое жизнестроительство» здесь совершенно побочный термин, который лишь затемняет суть дела.

Видимо, замысел мне не очень удался.

Но думаю, что именно это и имел в виду Блок, говоря о «легком имени Пушкин» и противопоставляя его угрюмым мучителям и мученикам.

Пушкин мне видится победителем, счастливецом, а не мучеником.

Ну, хватит, теперь о другом.

Перечтите, что он пишет о Грибоедове: «Приехав в Грузию, женился на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна». Ведь это его программа для себя, его идеальный план. А Вы говорите, что плана не было. И царь, и все обстоятельства вынуждали его не драться, а он вышел — один, как Давид на Голиафа, — и победил!

Увлеченные Щеголевым, этого (его пушкинского торжества в момент дуэли — наперекор всему и всем!) не поняли ни Цветаева, ни Ахматова (которая, прости мне, Господи, мои прегрешения! — Пушкина вообще не понимала), а понял Пастернак, который писал, что, по мнению пушкинистов, Пушкин должен был жениться на Щеголеве и жить до 90 лет. А он избрал жениться «на той, которую любил», и смерть «посреди смелого, неравного боя» (это уже не Пастернак, а я от себя). Это у Пастернака не о Пушкине, но очень хорошо освещает его (Пушкина) последнюю трагедию:

Дай мне подняться над смертью позорной.

С ночи одень меня в тальник и лед.

Утром спусти с мочажины озерной.

Целься, все кончено!

Бей меня влет!

(«Рослый стрелок, осторожный охотник...»)

<...>

Обнимаю Вас.

Ваш Ю. Л.